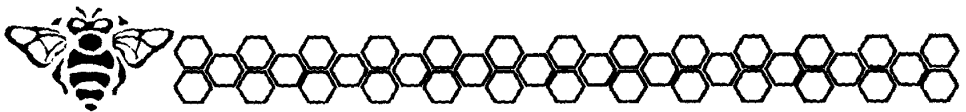


STUDIA PHILOLOGICA



М. О. Чудакова

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ

Том I

ЛИТЕРАТУРА
СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО



ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Москва 2001

ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Ч 84

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 01-04-16093

Чудакова М. О.

Ч 84 Избранные работы, том I. Литература советского прошлого. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 472 с. – (Studia philologica).

ISBN 5-7859-0123-4

Предмет книги – литературный процесс советского времени, то есть в условиях огромного социального и политического давления. Без учета этого фактора невозможно понять творчество Булгакова, Зощенко, Олеси, Пастернака и других – тех, кому посвящена книга.

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

*Для оформления обложки использован фрагмент картины
Е. С. Жигалкиной «Плач Ярославны», 1989 г. (студия «Новая реальность»)*

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.
Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

© М. О. Чудакова, 2001

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
-------------------	---

Часть I

Мастерство Юрия Олеши	13
Постскрипtum	73
Поэтика Михаила Зощенко	79
Постскрипtum	205
Заметки о языке современной прозы	245
Постскрипtum	286

Часть II

Опыт историко-социологического анализа художественных текстов: На материале литературной позиции писателей-прозаиков первых революционных лет	291
Без гнева и пристрастия: Формы и деформации в литературе 20–30-х гг.	309
Сквозь звезды к терниям: Смена литературных циклов	339
Чехов и французская проза XIX–XX вв. в отечественном литературном процессе 1920–30-х годов	367
Заметки о поколениях	377
Судьба «самоотчета-исповеди» в литературе советского времени (1920-е — конец 1930-х)	393

Часть III

Утопия Тынянова-критика	421
Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова	433
«Так яркий ток, оледенев...»	455
Список первых публикаций	467

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом томе собраны работы, относящиеся к изучению отечественного литературного процесса советского времени.

В первом разделе — то, что было написано в советское время, без изменений: с такой надеждой они когда-то писались и печатались — в изнурительной борьбе с многочисленной государственной цензурой за каждое (почти буквально) слово.

Как бессмысленно автору просить у читателя сделать скидку на цензурные условия (напротив — так и подмывает сказать сегодняшнему и возможному завтрашнему читателю что-нибудь вроде «Нас не надо жалеть — Ведь и мы б никого не жалели»), так же неразумно и читателю вовсе выпустить из виду социальный контекст, не поискать ключа к способу писания, не попытаться понять язык, на котором говорили и писали в предложенных историей условиях. Автор печатаемых работ того подцензурного времени, с самого начала отказавшись от языка аллюзий (ведь такой язык создавал новые нагромождения кривотолков, которые кто-то когда-то должен будет расчищать: за *николаевской Россией* предлагалось прочитывать *советскую* и т. д.), выражает свои мысли по необходимости прикровенно, обкарнанно, но все же прямым способом.

Со времени начала работы над первой диссертацией (т. е. во всяком случае с осени 1961 года), были выработаны определенные правила обращения со своими текстами. Главных было два.

В советское, а точнее, в *мое* советское время (главным образом 1960-е — начало 1980-х), нуждавшиеся в заработке и особенно в подработке (зарплаты никому почти не хватало) гуманитарии делились на два разряда. Одни спокойно и охотно занимались «халтурой» («подхалтуривали»). Эта деятельность имела множество модификаций: работа на советском радио (не со своими литературными передачами — скажем, о Пушкине, Толстом или Марке Твене, а занимаясь так или иначе, вольно и невольно, советской пропагандой), переводы (от Ленина до Брежнева)... В своих частных высказываниях эти авторы могли быть почти диссидентами, а в служивой повседневности, о которой мало кто знал, писать обзоры и рефераты Бог знает о чем в своих институтах, составлять неподписанные передовицы в газетах — от «Правды» до «Литературной газеты»: тягостное содержание таких текстов для авторов совершенно искупалось их анонимностью; булгаковское «Кончено! Неизгладимо. Эту удивительную штуку я сочинил. Кончено!...» («Записки на манжетах») тогда было почти никому неизвестно и

соответственно непопулярно. «Халтурой» мог быть не только приработок, но и постоянная служба в институтах вроде Института международного рабочего движения (само название, казалось бы, должно было отпугивать) — отстойнике малых политических бурь. Допытываясь у тех, кто попадал туда после очередного разгона какой-нибудь редакции или сектора (вследствие «идеологических упущений», т. е. попыток заняться чем-нибудь стоящим), за что же именно они там получают деньги (вопросы такого рода были не в чести), и более или менее приличные, можно было понять: за писание сугубо внутренних неудобоборуждаемых — по причине их халтурности и идеологизированности, что хорошо сочеталось, — документов. Страшным сном этих людей с хорошей репутацией была угроза того, что писанное за деньги потребуют напечатать — под их собственным именем.

Другие же считали такую деятельность невозможной, любые тексты, «для души» ли, для заработка ли писавшиеся, подписывали своим именем и готовы были за них отвечать (если обратиться к опыту любимого писателя и одного из героев этой книги — мы всё писали «одной и той же рукой») и у нас не было «такого тонкого подразделения: вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а сейчас повесть для потомства»). Одни коллеги зарабатывали рефератами для печатных изданий ИНИОНа — огромной важности культурная работа, когда под грифом «Для служебного пользования» и тиражом в 500–1000 нумерованных (!) экземпляров (в эпоху миллионных советских тиражей!) к нам приближали философскую, историческую, социологическую, в меньшей степени — филологическую мысль Запада; другие — частными уроками; рецензированием журнального *самотека* — причем эти внутренние рецензии (я занималась *самотеком* «Нового мира» около 10 лет — с 1966 года) отнюдь не были для пишущих «халтурой», а скорее способом связи с какой-то частью своего общества, психологической (да и практической — литературный совет, редакторские замечания) поддержкой тем, кто писал далеко от Москвы — где давление власти ощущалось еще сильнее и где письмо из редакции любимого журнала было важнейшим личным событием. Мужчины покрепче подрабатывали при случае и, скажем, землекопными работами — лишь бы не *халтурить словом*, устным или письменным, анонимным или подписным, не делить свои тексты на те, что для *внутреннего*, и те, что для *наружного* употребления.

Таково было первое правило.

Сегодня — это рассказ о допотопном времени и допотопных же коллизиях. Понимаю; к тому же чувствую личное неудобство. Но, подобно даме, пишущей Чичикову после бала у губернатора, чувствую и нечто вроде: «Нет, я должна к тебе писать!..»

Второе правило, которого придерживалась целая, хотя и немногочисленная, генерация, заключалось в том, что если нельзя написать всего, что думаешь, то можно и нужно ни при каких условиях не писать ничего, чего ты не думаешь. Между тем прием, называвшийся *забор* (иногда — *паровоз*), был широко распространен: в начале статьи ставили забор из необходимых цитат и демагогических пассажей, а затем уже писали *свое*. (Предполагалось, что читатель отличит одно от другого и отнесется сочувственно к тому, кто лжет ему с первых слов, и почему-то поверит его же словам дальнейшим). В первые годы печатания приятель с предшествующего курса, уже служивший в «Литературке» и воспринимавшийся как многоопытный (вскоре он стал известным либеральным критиком), учил меня уму-разуму: «Понимаешь, человек с именем может писать что хочет, а нам с тобой, чтобы напечататься, в начале каждой статьи надо *постучать!*» (т. е. написать нечто лояльно-демагогическое).

Если формулировать не чинясь, то в нашем случае речь шла о постоянном эксперименте на себе: о проверке возможностей советской печати, вообще советской публичности. Я была убеждена, что дело — в интенсивности работы, в том, что после перелома 1956 года цензура — не догружена, что напор может прорывать заслоны (это убеждение сохранялось до конца советского времени, что не помешало, естественно, а только помогло принять как дар судьбы, почти как музыку сфер статью 29, часть 5, Конституции 1993 года: «Цензура запрещается»). В книге о Зощенко, скажем, было даже вставлено слово «новоречь» (из первого самиздатского перевода — теперь переводят «новояз») — при том что Оруэлл был одним из главных пугал для партocrats; немногие посвященные нипочем не верили, что пройдет, но, как может убедиться читатель, прошло.

Итак, это был второй водораздел. За обоими водоразделами стояли некоторые презумпции.

Они эксплицировались в немногих текстах. Один из них — открытое письмо И. А. Мельчука, написанное весной 1976 года в Москве¹, содержащее три послышки и необходимо, по мнению автора, вытекавший из них вывод. 1) «Существование СССР — в той форме, которую придали этому существованию капээсэсовцы, — преступно по отношению к человечеству» (согласна с этим и тогда, и сейчас); 2) каждый из нас — «соучастник глобального преступления этой страны», к тому же именно мы, «интеллигенты и творцы», «создаем советскому режиму человеческое лицо»; 3) находясь внутри страны — и не в лагере, — нельзя перестать быть соучастником. *Вывод* — «он один и очень прост: *уезжать*. (...) Наш отъезд — наше последнее, более того — наше единственное оружие».

Как-то в застолье конца 70-х один из будущих наиболее страстных публицистов эпохи «перестройки», яростный либеральный оппонент Горбачева, а затем и Ельцина, «говорил о нас всех как *сделавших выбор* и крайне был ошеломлен, когда я пояснила, что есть люди [тут же присутствующие], которые никакого *выбора* не делали, у них и вопроса такого не стоит.

— Ну, выгонят из ИМЛИ — встанет, — уверенно заметил Б.

— Нет — пойдет в лесники, и дело с концом, — возразила я» (6 февр. 1978 года).

Если вернуться к послышкам и железному из них выводу в письмо Игоря Мельчука, он учитывал всего две составляющих: *власть* (*партия, КГБ*) и *мы*. Эта характерная для нашего слоя принципиальная двоичность не покрывала всего поля моего самоопределения, самоосознания. Отсутствовала еще одна, третья составляющая, без которой лично для меня сама постановка задачи была некорректной и которую сегодня удобнее всего назвать словом «патрия». Она, или оно — население, или они — соотечественники неизменно участвовали в моих действиях, в интенциях. В 1979 году журнал «Литературное обозрение» задавал критикам вопросы об их адресате, о том, для кого, так сказать, они пишут. Приняв вопросы всерьез (почему бы нет?), я пыталась передать, как

¹ См.: Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «смысл — текст»: семантика, синтаксис. М., 1999, с. 335–338.

² Волны от отчетливой формулировки катились долго, и года четыре назад советник российского посольства в одной из европейских стран, всю жизнь прослуживший в советском МИДе, убеждал Л. Э. Разгона и меня покинуть срочно Комиссию по вопросам помилования при президенте России, поскольку наше участие в общественных органах придает «режиму Ельцина» человеческое лицо.

во время работы появляется в воображении нечто «почти неопределимое, во всяком случае, безмолвное, но покрывающее, однако, все огромное пространство страны. Количество и даже качество откликов здесь ничего не решает. Важны, может быть, те несколько отзвуков, которые были восприняты как сигнал: «Вас слышат». Более ничего не надо.

Чтобы снизить высокую ноту, — писала я, — упомяну, что, когда нечто в этом роде мне пришлось (по необходимости) объяснять в одной из редакций, редактор закрыла от стыда за меня лицо руками: «Ответственность перед неизвестным читателем во Владивостоке? Да вы смеетесь над нами! Никто с вас не спросит, никакой читатель, уверяю вас! Это с нас за вас спросят, только с нас — и не во Владивостоке или Хабаровске, а гораздо ближе!»³

Возникший во второй половине 60-х и расцветший в 70-е академический Тамиздат психологически усложнял ситуацию. Те, кто не хотели нести урон от цензуры, посылали свои работы в западные журналы и сборники; «Russian Literature», издававшаяся Н. О. Нильссоном и Я. ван дер Энгом, наполнялась москвичами, ленинградцами и рижанином. На всю Москву, не считая домашних библиотек авторов, было, кажется, два экземпляра (про другие города и веси — понятно). Там можно было спокойно анализировать на пятидесяти страницах «Грифельную оду» Мандельштама, тогда как в отечестве еще продолжали биться (битва длилась в течение 17 лет) за издание его в «Библиотеке поэта» (книга вышла только в 1973 году), а сменявшиеся редакторы тома статей Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино» (1977) в течение нескольких лет выговаривали составителям: «У вас в комментариях Мандельштам упоминается 9 раз! — А сколько, по-вашему, можно?! — Ну, два-три раза...» (комментарий занимал 175 страниц петита).

Тот, кто решил для себя, что русская филология должна развиваться *и в России*, должен был быть готов нести урон, стремясь непропорционально (и неправдоподобно) большими психологическими и иными усилиями свести его к минимуму. Постскрипты к книгам об Олеше и Зощенко, а также к статье того же времени написаны в основном затем, чтобы показать, как происходила эта борьба (архаическое слово!) — немаловажная часть уже нуждающегося в реконструкции общественного быта тех лет, — и, может быть, дать материал для истории гуманитарного знания в советское время (а отнюдь не из неумного желания рассказывать дней минувших анекдоты с фигурой рассказчика в центре). Приводя тогдашние дневниковые записи, в прямых скобках даю сегодняшние пояснения.

В работе тех, кто продолжал заниматься русистикой в России, участвовало, видимо, то, что еще в 1914 году было отмечено В. И. Вернадским как непеременимое обстоятельство научной работы в России: «В обществе без научной веры не может быть научного творчества и прочной научной работы»; научная вера «является опорой в тяжелых условиях русской действительности, служит импульсом, направляющим вперед, среди самых невозможных внешних условий, создателей творческой работы русского общества в области научных явлений... Точному учету истории эта научная вера не может подвергнуться...»⁴

³ Литературное обозрение, 1979, №10, с. 101.

⁴ Вернадский В. И. Очерки по истории естествознания в России // Русская мысль. 1914. № 1. Стр. 2, с. 22.

Второй раздел тома — работы 1985–1999 годов. Все они (кроме статьи 1985 года) писались уже в иных условиях, когда с каждым годом таяла цензура, пока в течение нескольких августовских дней 1991 года от нее не осталась лишь грязная лужица.

С пятнадцати лет страстно хотела заниматься советской литературой; не перестаю недоумевать, как это возможно: мое собственное представление о предмете поменялось за это время раз десять, а страсть — осталась; так *что же именно* я хотела и хочу изучать?... Учиться этому изучению на филфаке МГУ второй половины 1950-х было, естественно, не у кого; семинар Н. И. Либана о шестидесятниках (XIX-го, натурально, века) стал моей главной научной школой — навык, полученный из рук учителя, а также из работ формалистов, перечитанных вдоль и поперек самостийно (на филфаке нашего времени их не существовало в программах и лекциях), старалась применять к XX веку. Советское литературоведение вообще, а занимающееся советской же литературой особенно, уже в те годы не оставляло места для иллюзий — все, кто что-то хотел и мог сказать, уходили в лингвистику и фольклористику. Однокурсник, давно профессорствующий в Америке, лет десять назад, когда Бог привел встретиться, сказал: «То, чем ты тогда занималась, казалось такой мурой, а теперь это самое интересное». Хотелось продолжить оборванную работу формалистов (о ней — в последнем разделе тома). Только возникавшая в начале 60-х отечественная школа структурализма открывала неожиданные возможности «чистой науки», ее небезнадежность в советских условиях, расчищала горизонт. Но было ясно вместе с тем, что с моим материалом придется идти своим каким-то путем. Наиболее близкой традицией оставались формалисты, в первую очередь Тынянов. Важны были несколько книг в тогдашней пустоте, не замеченные или не опубликованные в далекие годы их рождения, — «Проблемы поэтики Достоевского» М. М. Бахтина, «Психология искусства» Л. С. Выготского, «Разговор о Данте» Мандельштама (и том его критической прозы в заокеанском издании).

Печаталась с 1958 года, но началом серьезной работы стали рецензии в «Новом мире» и «Вопросах литературы» (1960–1963) и первая статья (в соавторстве с А. Чудаковым) — также в «Новом мире» (1963, № 2); последующие годы печатания в журнале, работа с редактором К. Н. Озеровой стали *второй* — после университета — школой.

Это были занятия современной литературной критикой. Видно, как отличен тогдашний подход к тексту писателя-современника (статья 1972 года) от сегодняшнего: пристальность, придирчивость к слову, дотошность, соотносимая, впрочем, со способом работы самих литераторов. Правда, в истории литературы советского времени были периоды как гиперболизации «мастерства», так и отката от него (см. об этом в постскрипуме к книге об Олеше и статьях 1988 и 1990 годов). Но к концу первого постсоветского десятилетия отказ от т. н. *работы над словом* закрепился как новое литературное качество. Современная проза (в поэзии дело обстоит иначе) отказывается от значительной части прежних представлений о литературе и литературности, от того, что было литературно-авторитетным. Это связано и с тем, что отворились ворота массовой культуре, и с ролью СМИ и Интернета в жизни общества, с влиянием устного слова (не того звучащего на улице, роль которого затрагивается на разных страницах данного тома, а ежедневно обращенного к нам в повелительной интонации шоуменов и телеведущих с телезрана — монополиста влияния), и, конечно, с чем-то внутри самой литературы, с ее самостоятельной жизнью, которая не замирает, как явствует, надеюсь, из работ, здесь представленных, никогда.

С 1965 года в течение 13 лет — ежедневная служба в Отделе рукописей Библиотеки имени Ленина. Это был осознанный выбор — в расчет среди прочего входило и то, что все же лучше заниматься своим делом ночами, уходя каждое утро с понятными чувствами от своего стола, но миновать сито секторов и кафедр советской литературы: просочиться через них я не надеялась. Археографическая работа с документами XX века и обучение этому делу у С. В. Житомирской и В. Г. Зиминой стали *третьей* школой. Ее результаты — во 2-м томе моих работ.

В него войдет книга «Рукопись и книга» (1986) — о *рукописном* и *печатном* как двух культурных началах в русском обществе XIX–XX вв. (с дополнительной главой о судьбе этих начал в век Интернета), «Обзор архива Булгакова: материалы для творческой биографии писателя» (1976) и некоторые из статей о Булгакове (1974–1998).

Часть I

МАСТЕРСТВО ЮРИЯ ОЛЕШИ

*Моей маме и моей дочери Маше
посвящаю эту книгу*

Предисловие

В этой книге речь пойдет о прозе Юрия Олеши. Задача автора была не в том, чтобы восстанавливать биографию писателя и совокупность всех жизненных обстоятельств, повлиявших на его литературный путь, а в том, чтобы рассказать главным образом о результатах литературной работы Олеши, о тех и «готовых» и не вполне законченных его книгах, которые остались в истории литературы и живут в сегодняшнем читательском сознании. В книге описывается в общих чертах тот «художественный язык», на котором говорит Олеша, те законы, которые действуют в его художественном мире. Естественно стремление понять черты той манеры, которая так безошибочно позволяет читателю по нескольким строчкам угадать автора.

Напомним очень коротко биографию писателя. Он родился в Елисаветграде (теперь Кировоград) в 1899 г., но детство и юность его прошли в Одессе. «Когда мне было три года, семья переехала в Одессу, которую считаю, хотя и неправильно, своей родиной, — писал Олеша. — Во всяком случае, всю лирику, связанную с понятием родины, отношу к Одессе»¹.

Литература началась для него очень рано — с одесских поэтических альманахов, в изобилии выходивших в годы первой мировой войны; с собственных стихов, которые еще шестнадцатилетним гимназистом он видит напечатанными в журналах, с многочисленных в Одессе тех лет вечеров поэтов, сильнейшим образом его интересовавших. Стихи Олеши весьма занимали тогда «поэтов Одессы», их с «восхищением читали.., имитируя его манеру декламации — медлительно-торжественную и протяжно-певучую», — вспоминает один из его современников.

Сохранился рукописный стихотворный сборник Олеши тех лет («Виноградные чаши. Стихи 1915–1917 гг.») с эпиграфом из Блока:

И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

У шестнадцатилетнего стихотворца — традиционные для той поэзии, которая служила ему образцом, мотивы.

¹ Ю. Олеша. Ни дня без строчки. М., «Сов. писатель», 1965, стр. 15. Далее все цитаты в тексте из произведений Ю. Олеши даются по этому изданию и по изданию: Ю. Олеша. Избранные сочинения. М., Гослитгиздат, 1956.

И долго я брожу меж вами,
 Стихи безумные твоя,
 Пока не гаснет над домами
 Недостижимая заря...²

Ближайшие учителя его очевидны, его стихи искренни и нескрываяемо подражательны.

Из воспоминаний Олеси и его друзей возникает пестрая и шумная, молодая, еще лишённая существенных забот и серьёзных обязанностей жизнь, встает юность, почти целиком сосредоточенная на литературном интересе.

В начале 1920-х годов Олеша переехал в Москву. Он стал в 1922 г. сотрудником газеты железнодорожников — «Гудок», где в эти же годы работали И. Ильф, В. Катаев, М. Булгаков. «Я поступил в «Гудок», кстати говоря, вовсе не на журналистскую работу, — вспоминал он позже. — Я служил в так называвшемся тогда «информационном отделе», и работа моя состояла в том, что я вкладывал в конверты письма, написанные начальником отдела по разным адресам рабкоров. Я надписывал эти адреса... До этого у меня уже была некая судьба поэта, но так как эта судьба завязалась в Одессе, а сейчас я прибыл из Одессы, из провинции, в столицу, в Москву, то приходилось начинать все сначала. Вот поэтому я и пошел на такую работу, как заклеивание конвертов.

Однажды — я уж не помню, какие для этого были причины — начальник отдела Иван Семенович Овчинников предложил мне написать стихотворный фельетон по письму рабкора. И я написал этот стихотворный фельетон... Что-то в нем было о Москвереке, о каком-то капитане, речном пароходе и его капитане, который останавливал пароход не там, где ему следовало останавливаться по расписанию, а там, где жила возлюбленная капитана. Фельетон, как мне теперь кажется, был сделан неплохо.

— Как его подписать? — спросил я моих товарищей по отделу. — А? Как вы думаете? Надо подписать как-то интересно и чтобы в псевдониме был производственный оттенок... Помогите.

— Подпиши «Зубило», — сказал Григорьевич, один из сотрудников, толстый и симпатичный.

— Ну, что ж, — согласился я, — это неплохо. Подпишу «Зубило» («Ни дня без строчки»).

С тех пор почти ежедневно он публиковал стихотворные фельетоны на злобу дня и подписывал их этим псевдонимом, который быстро стал крайне популярным среди читателей газеты — рабочих и служащих железнодорожного транспорта. Часть этих фельетонов Олеша собрал в 1924 г. в сборник, который так и назывался — «Зубило».

Эта работа совершенно вытеснила в сознании фельетониста «Гудка» его ранние лирические опыты. Его отношение к новому своему литературному занятию отчетливо выговорено в надписи, которую Олеша делает 30 июня 1924 г. на первом своем сборнике, преподнося его М. А. Булгакову: «Мишенька, я никогда не буду писать отвлеченных лирических стихов. Это никому не нужно. Поэт должен писать фельетоны, чтобы от стихов была практическая польза для людей, которые получают 7 рублей жалованья. Не сердитесь, Мишунчик, Вы хороший юморист (Марк Твен — тоже юморист). Через год я подарю Вам еще одно «Зубило». Целую. Ваш Олеша»³.

² Архив Ю. Олеси, хранящийся у О. Г. Олеси.

³ ГБЛ, архив М. А. Булгакова (ф. 562).